

МАРИЯ ГЕЛЬФОНД



ПОЧЕМУ ПОГИБЛИ ГОЛУБИ

К 55-летию публикации рассказа Юрия Трифонова «Голубиная гибель»

В первом номере журнала «Новый мир» за 1968 год были опубликованы два рассказа Юрия Валентиновича Трифонова. Первый — автобиографический, почти исповедальный «Самый маленький город» — стал откликом на недавнюю смерть жены писателя, Нины Нелиной. Второй, «Голубиная гибель», появился в журнале не сразу — он, по слову писателя, «был отсечен» от опубликованных в последнем номере 1966 года рассказов «Вера и Зойка» и «Был летний полдень». Для публикации «Голубиной гибели» Трифонов, по его признанию, единственный раз воспользовался дачным соседством с Твардовским и передал рукопись рассказа прямо в руки редактору «Нового мира» через забор дачного участка:

Между тем был у меня еще один рассказ, застрявший в отделе: «Голубиная гибель». Он, кажется, не очень понравился Дорошу или Асе Берзер <...>. Я считал, что по качеству он ничуть им не уступает, да и по смыслу не худ. Словом, я набрался наглости и передал его как-то осенью в один из приездов на дачу — прямо через забор — в руки Александру Трифоновичу. Это был первый и единственный раз, когда я действовал помимо отдела, воспользовавшись выгодой соседства¹.

Рассказ, понравился Твардовскому («Он лежал у меня на столе, Мария Илларионовна прочитала. <...> Хороший, говорит, рассказ, но почему конец такой грустный? Прямо, говорит, жить не хочется. Вы там что-нибудь сделайте с концом...»²) и был опубликован в журнале без каких-либо цензурных изъятий. Публикация успеха состояться вовремя — за несколько месяцев до чехословацких событий, за полтора — до разгрома «Нового мира». В двух сборниках Трифонова, вышедших позже, в «Советской России» и в «Гослитиздате», рассказ будет опубликован уже в изувеченном виде — с изъятной сценой ареста и гибели соседской семьи. «Теперь это просто сентиментальный рассказ»³, — с горечью констатировал в «Записках соседа» Трифонов. (Возможно, именно на сюжет этого «сентиментального рассказа» — смерть преданного человеку

Гельфонд Мария Марковна — филолог. Родилась в 1975 году в Нижнем Новгороде. Окончила филологический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат филологических наук. Преподаватель и академический руководитель программы «Филология» Национального исследовательского университета Высшая Школа Экономики (Нижний Новгород). Автор книг ««Читателя найду в потомстве я...»: поэты XX века — читатели Боратынского» (М., 2012) и «Трилогия А. Я. Бруштейн «Дорога уходит в даль...». Комментарий» (М., 2017) и ряда статей по истории и поэтике русской литературы. Живет в Нижнем Новгороде. В «Новом мире» публикуется впервые.

¹ Трифонов Ю. В. Записки соседа. — «Дружба народов», 1989, № 9, стр. 27.

² Там же.

³ Там же, стр. 28.

существа из-за соседского навета — ориентировался автор «сентиментального романа» Гавриил Троепольский, посвятивший написанного в 1971 году «Белого Бима» Твардовскому).

Но «Голубиная гибель» сентиментальным рассказом не была. Более того, этот рассказ стал одним из первых произведений, в котором писатель Юрий Трифонов безжалостно сводил счеты со временем и собою в нем. Этим временем было послевоенное сталинское семилетие, к которому на разных витках своего пути Трифонов будет возвращаться снова и снова — в «Долгом прощании», «Доме на набережной», романе «Время и место».

Как свойственно Трифонову, сюжет рассказа незамысловат: к старикам, живущим в коммунальной квартире, прилетает пара голубей. Старики и голуби привязываются друг к другу, но птичья пара мешает соседям по подъезду. В дело вмешивается домком Брыкин, требующий голубей убрать. Тем временем в соседней комнате арестовывают человека. Брыкин грозит старикам штрафом и товарищеским судом, они трижды безрезультатно пытаются избавиться от голубей — и наконец, вынуждены убить их, причем сама голубиная гибель в рассказе не показана (Лев Лосев справедливо отмечает здесь эллипсис как один из приемов «эзопова языка»)⁴.

Год, в котором происходит действие «Голубиной гибели», не назван, но, как часто бывает у Трифонова, восстанавливается по контексту — в финале скороговоркой эпилога обозначена череда событий как частных, так и исторических.

Было лето, долгое и сухое, была осень с дождями, были холода, испортилось отопление в третьем подъезде, приходил Брыкин, составляли акт, две ночи спали в шубах, Клавдия Никифоровна мучилась с зубами, Агнию Николаевну с девочкой и старушкой Софьей Леопольдовной переселили куда-то на край Москвы, а в их две комнаты вселились новые жильцы, семь человек, все из Тулы, потом зима кончилась, еще одно лето прошло, объявили амнистию, Сергею Ивановичу назначили пенсию, и он ушел с работы и теперь сидел за домино с раннего утра. Потом вышел приказ насчет голубей — разводить их как можно больше к фестивалю, встречать иностранцев, — и за них теперь не то что штраф, а спасибо говорили. И развелось их видимо-невидимо. Повсюду их кормили, на площадях, во дворах, ходили они стаями, толстые, вперевалку, летать ленились, а только ворковали целодневно да гадили где попало, особенно в углах дворов, по балконам и карнизам, и спасу от их пакости, желтовато-свинцовой, не было никакого. А в плохую погоду Сергей Иванович сидел дома и плел для удовольствия маленькие корзинки из цветного полиэтиленового провода. Обрезки такого провода — то ли он был телефонный, то ли еще для каких нужд — приносил Сергею Ивановичу сколько угодно племянник Марии Алексеевны, который уже закончил институт и работал на предприятии⁵.

Американская славистка Татьяна Патера, ориентируясь, главным образом, на амнистию 1955 года предполагает, что действие рассказа происходит в 1954:

Ответ на вопрос, когда происходят события в «Голубиной гибели», можно найти в самом рассказе, что мы и сделаем до того, как перейдем к пункту Б. Прежде всего по замечанию: «Жили одиноко. Сын Федя погиб на войне». — можно установить, что действие этого реалистического произведения происходит после войны. Поскольку далее о дочери Сергея Ивановича сказано, что она «лет десять назад завербовалась на Север», а вербовка началась в самом конце войны, можно заключить, что события относятся самое раннее к 1953

⁴ Loseff Lev. On the Beneficence of Censorship. Aesopian Language in Modern Russian Literature. München, 1984, p. 106 — 107.

⁵ Здесь и далее рассказ цитируется по первой публикации: «Новый мир», 1968, № 1, стр. 80 — 88.

году. Однако, по мрачному тону рассказа и по отсутствию в нем малейших намеков на самое чрезвычайное событие весны 1953 года — смерть Сталина (5 марта) — можно предположить, что события в «Голубиной гибели» происходят не сразу после смерти Сталина, вероятнее всего весной следующего 1954 года.

<...>

Только дойдя до эпилога «Голубиной гибели» мы можем с уверенностью сказать, что наше предположение о дате — весна 1954 года — было правильным, поскольку в последних строках рассказа упомянуты два конкретных исторических события: амнистия и фестиваль, даты которых не являются секретом. Об амнистии, которая могла иметься в виду, мы находим упоминание в шестом томе «Архипелага ГУЛАГ» А. Солженицына: «Вдруг совсем нежданно-нежданным подползла еще одна амнистия — «аденауэровская», сентября 1955 года». До этого, как следует и из слов Солженицына, была «еще одна» так называемая «ворошиловская» амнистия, но она нас не интересует, так как ее объявили еще весной 1953 года (27 марта), а в «Голубиной гибели» сказано, что амнистию объявили, когда «лето прошло». Упомянутый в рассказе «фестиваль», на который должны были приехать «иностранцы», датировать еще проще: речь, без сомнения, идет о 6-м Всемирном фестивале молодежи и студентов, проходившем в Москве с 28 июля по 11 августа 1957 года. По датам этих событий и соответствующим замечаниям в эпилоге <...> несложными вычислениями получим, что действие в рассказе происходило за три года до фестиваля и за год до амнистии, а именно в марте (по замечанию о вате, пролежавшей между окнами ползими) — июне (по замечанию «сухой, жаркий день начального лета») 1954 года⁶.

На наш взгляд, приведенные вычисления не совсем точны. Прежде всего, фраза о смерти Сталина в эпилоге рассказа *была*; готовивший рассказ к публикации Твардовский посоветовал убрать ее из финального перечня событий. «Фразу я снял, — вспоминал Трифонов, — внимательный читатель поймет, о каком времени говорится»⁷. Таким образом, действие рассказа происходит не *после* смерти Сталина, а *до* нее; вероятно, фразу о ней метонимически замещает упоминание об амнистии. Имея в виду некоторую неточность, которая неизбежно возникает при совмещении в памяти частных и исторических событий, можно предположить, что в сознании стариков происходит контаминация нескольких амнистий — начиная с «ворошиловской» («бериевской») 1953 года, произошедшей, действительно, не осенью, а весной, но отозвавшейся позже (вспомним «Холодное лето 53-го»). Вероятно, в сознании стариков сливаются несколько почти бессобытийных для них лет — и следующим событием, закрепившимся в их памяти, становится, действительно Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который проходил в Москве в 1957 году (к нему были выпущены специальные инструкции о том, как разводить голубей). Если приведенные нами расчеты верны, то действие рассказа происходит в 1950 или 1951 году. И здесь важно вспомнить, что именно в 1950 был опубликован первый роман Ю. В. Трифонова «Студенты», а в 1951 писатель получил за него Сталинскую премию. Мгновенный успех — не без сопутствовавшей ему горечи — обрек писателя на молчание, затянувшееся на без малого два десятилетия. «Голубиную гибель» писал человек, который помнил о том, что он написал «Студентов», и не хотел себе это прощать.

Что кроме «времени и места» (важнейшая трифоновская формула, ставшая названием его последнего законченного романа) сближает эти два произведения? Думается, не менее важный в контексте всего его творчества сюжет предательства: вызывающий безусловное авторское сочувствие герой «Студентов» Вадим Белов предает своего учителя профессора Козельского

⁶ Патера Т. А. Обзор творчества и анализ московских повестей Ю. В. Трифонова. Ann Arbor, 1983, стр. 50 — 51.

⁷ Трифонов Ю. В. Записки соседа, стр. 28.

именно в силу обстоятельств «времени и места». В силу тех же обстоятельств герои «Голубиной гибели», старики Сергей Иванович и Клавдия Никифоровна, предадут привязавшихся к ним «удивительных птиц». Но за параллелизмом внешних сюжетов кроется сюжет внутренний: сам Юрий Трифонов два десятилетия спустя осознает роман «Студенты» и полученную за него премию как акт предательства. В «Записках соседа» он додумывает не договоренное до конца Твардовским — но очевидно, что относится это прежде всего не к Твардовскому, а к нему самому:

Мы остались вдвоем. Не помню уж, как зашел разговор — я рассказал о судьбе отца и матери. Он слушал без особого интереса и так, будто все это ведомо, слышано. Не спрашивал: «А с кем же вы остались? А есть ли какие сведения?» — что спрашивают обыкновенно, проявляя любопытство, ему все было понятно разом. А подробности не интересовали. Он заговорил о своем отце.

И тут я впервые понял, что то, что случилось с его отцом и что случилось с моим, — части единого целого российской трагедии. Это связано, слитно, это по какому-то высшему счету одно и то же.

Он говорил, как отец прощался, как его увозили...

И в голосе была открытая боль, что меня поразило, ведь он и старше меня, и разлука с отцом произошла давно, двадцать лет назад, а у меня тринадцать лет назад, но я думал об отце гораздо спокойней. Боли не было, засохла и очерствела рана. А он плакал.

— Наделали дел, бог ты мой! Старика, который всю жизнь трудился, шептал еле слышно. — Помню его руки, рабочие, на столе — в мослах, мозолях...

О чем он плакал? О безвозвратном детстве? О судьбе старика, которого любил? Или о своей собственной судьбе, столь разительно отличной от судьбы отца? *С юных лет слава, признание, награды, и все за то, что в талантливых стихах воспел то самое, что сгубило отца* (курсив мой — М. Г.)⁸.

В «Голубиной гибели» Трифонов делает предметом осмысления послевоенное сталинское семилетие. Но в отличие от «Студентов», которые писались *изнутри* этого времени, события «Голубиной гибели» отделены от времени повествования полутора десятилетиями. Здесь, в этом небольшом рассказе, складывается все то, что станет важнейшими темами писателя в дальнейшем — предательство, страх, исчезновение. Здесь формируется мир многослойной прозы, намеков и иносказаний, размытых границ несобственно прямой речи и поэтических подтекстов. Собственно и само заглавие рассказа с его подчеркнутой аллитерацией — «Голубиная гибель» — звучит как поэтическая цитата.

Еще одна поэтическая цитата подсвечивает начало рассказа. Его герои, Сергей Иванович и Клавдия Никифоровна, — старик со старухой, которым вековой традицией завещано жить в идиллическом мире, в ветхой землянке у самого синего моря. Они и живут — очень скромной, почти откровенно бедной жизнью — на седьмом этаже большого московского дома, в коммунальной квартире. Тень пушкинской сказки мелькнет, когда старикам явится, как вестник из сказочного мира, голубь («Странный, неожиданный гость!»), потом еще раз, когда старуха будет тревожиться о старике, не надевшем «теплую вязаную телогрею» («старуха/ в дорогой собольей душегрейке») и затем, когда сохраняя сказочный⁹, но отнюдь не пушкинский канон, старики будут трижды пытаться избавиться от голубей, смогут сделать это на четвертый раз — и останутся в итоге у разбитого корыта, с теми корзиночками из полиэтиленового провода, которые будет плести Сергей Иванович.

Дожившие до старости Клавдия Никифоровна и Сергей Иванович — редкая в советской литературе идиллическая пара. Редкая в силу исторических

⁸ Трифонов Ю. В. Записки соседа, стр. 16.

⁹ Иванова Н. Б. Проза Юрия Трифонова. М., 1985, стр. 100.

обстоятельств, поскольку, как сказано Слуцким, «Старух было много, стариков было мало: / То, что гнуло старух, стариков ломало»¹⁰. Трифоновским старикам отчасти повезло — судьба сберегла их обоих. Сами их образы уже хранят в себе память о Филемоне и Бавкиде или — ближе — о гоголевских «старосветских помещиках» (Сергея Ивановича роднит с ними хоть и нейтральное, но значимое отчество). Скудость, едва ли не нищета советского послевоенного быта («две пол-литровые стеклянные банки на подоконнике, одна с клюквой, другая с кислой капустой», «кусочек масла в вошеной бумаге» и «несколько сморщенных сосисок») вовсе не отменяет их естественного добросердечия: Клавдия Никифоровна покупает для голубя ядрицу, крошит будку («обязательно белую: от черной голубь клюв воротил»), угощает то морковкой, то баранкой соседскую девочку Маришку («А ничего, пускай чайком погреемся»). И если готовность стариков повиноваться чужой воле — следствие многих бед («...Жили одиноко. Сын Федя погиб на войне...»), то их ровная доброжелательность восходит, кажется, еще к другим, не упоминаемым в рассказе временам. Сергею Ивановичу шестьдесят пять; этот заводской мастер очевидно застал еще ту дореволюционную жизнь, о которой напоминает сейчас только трубочка (не папироса), которую он курит, и молчаливое несогласие с чужим, *барским* капризом:

Сергей Иванович не сразу сообразил, чего хочет дама с зонтиком. Упорным взглядом исподлобья он рассматривал ее полное румяное лицо с маленьким ротиком, красиво обрисованным розовой помадой, ее шуриющий переливчатый плащ, сопел трубкой и думал: до чего же народ стал балованный, это на удивленье! И то им не так, и другое, и черта лысого не хватает, а как в войну переживали — об этом уж никто не помнит. Вникнув, догадался: дама просит, чтоб голубей убрали. А спроси ее — зачем? Почему такое это нужно, чтоб убрать? Кому птицы мешают? Она и не ответит, потому что одна блажь в голове, баловство.

Слабая память об ином, *немосковском* прошлом жива и в Клавдии Никифоровне. Свидетельство этому — не столько подчеркнуто простонародное имя и отчество, сколько память о каком-то другом, настоящем хозяйстве: «Хотя какое в Москве хозяйство? В «гастроном», да в молочную, да сапожнику обувь снести». Но эта другая жизнь — если она и была — давно осталась в прошлом.

В настоящем к старикам прилетает голубь. Выбор этой птицы далеко не случаен — и дело не только в знаменитом рисунке Пабло Пикассо, ставшем позже эмблемой того самого фестиваля, который мельком будет упомянут в финале. Голубь — образ, издавна освоенный мировой культурой: это и заместительная жертва, и вестник спасительной земли для обитателей Ноева ковчега (здесь могла сработать и еще одна ассоциация: с Ноевым ковчегом сравнивается у Достоевского в «Преступлении и наказании» огромный, как и в «Голубиной гибели», дом). Говоря о голубе как вестнике спасения и добра, нельзя не вспомнить два текста, вошедших в русский поэтический канон — балладу В. А. Жуковского «Светлана» и написанную приблизительно в ту же пору, когда происходит действие «Голубиной гибели», «Свадьбу» Б. Л. Пастернака.

В балладе В. А. Жуковского белоснежный голубок спасает Светлану от страшного сна о путешествии в загробный мир с мертвым женихом — и тем самым от гибели. Отметим, что этого образа и соответственно мотива чудесного спасения нет ни в оригинале — балладе Бюргера «Ленора», ни в первом переводе-переложении Жуковского — балладе «Людмила». Мотив явления голубя как вестника-спасителя восходит, по всей вероятности, к поморским

¹⁰ Слуцкий и Б. А. Старухи и старики. — Слуцкий и Б. А. Собрание сочинений в трех томах. М., 1991. Т. 1, стр. 353.

сказкам¹¹ — и сам по себе он, конечно, не балладный, а сказочный, дарящий надежду в самый, казалось бы, безнадежный момент:

Чу, Светлана!.. в тишине
 Легкое журчанье...
 Вот глядит: к ней в уголок
 Белоснежный голубок
 С светлыми глазами,
 Тихо вея, прилетел,
 К ней на перси тихо сел,
 Обнял их крылами¹².

Отзвук баллады Жуковского слышен, вероятно, и в стихотворении Пастернака «Свадьба» из «живаговского цикла»¹³. Здесь «голубь сизый» становится символом и аналогом всей жизни — растворения себя в других людях. Отметим, что в рассказе Трифонова *сизый* голубь приводит с собой подругу — *белоснежную* голубку; белоснежным — в мать — рождается и их птенец.

В необъятность неба, ввысь
 Вихрем сизых пятен
 Стаей голуби неслись,
 Снявшись с голубятен.

Точно их за свадьбой в след
 Спихватясь спросонья,
 С пожеланьем многих лет
 Выслали в погоню.

Жизнь ведь тоже только миг,
 Только растворенье
 Нас самих во всех других
 Как бы им в даренье.

Только свадьба, вглубь окон
 Рвущаяся снизу,
 Только песня, только сон,
 Только голубь сизый¹⁴.

«Свадьба» вспоминается здесь не только потому, что Пастернак — поэт, очень значимый для Юрия Трифонова и его героев¹⁵. Голуби и голубятни, также упомянутые Пастернаком, — важный элемент послевоенной городской субкультуры, отчасти окраинной, отчасти подростковой (неслучайно в трифоновском рассказе обрести голубей — счастлив сын лифтерши), к моменту создания рассказа уже почти утраченной¹⁶. Вместе с тем в атмосфере тотального недоверия, пронизывающей все вокруг, голубь воспринимается как «птица подозрительная, ненужная в наше время» (заметим, впрочем, что и голубь при первом своем появлении «засматривает в комнату косым, шпионским взглядом»). Сергей Иванович не голубятник, но именно рядом с голубями его жизнь

¹¹ Жуковский В. А. Сочинения в 3-х т. М., 1980. Т. 2., стр. 457.

¹² Там же, стр. 22.

¹³ Поливанов К. М., Успенский П. Ф. «Свадьба» Б. Л. Пастернака «при свете Жуковского». — В кн.: Замечательное шестидесятилетие: Ко дню рождения Андрея Немзера. М., 2017. Т. 1, стр. 243 — 265.

¹⁴ Пастернак Б. Л. Полное собрание сочинений в 11 т. М., 2004, стр. 526.

¹⁵ Бек Т. Проза Трифонова как инобытие поэзии. Юрий Трифонов: долгое прощание или новая встреча. — «Знамя», 1999, № 8.

¹⁶ Шуккина М. Феномен городского голубятничества 1950-х годов. — Ряховский Б. О. Отрочество архитектора Найденова. М., 2017, стр. 130 — 136.

обретает неожиданный смысл: он строит им дом, который — так уж сложилась жизнь — он не может построить своим детям:

Когда потеплело и можно было открыть окно, Сергей Иванович смастерил — так, скуки ради, чтоб руки занять, деревянный ящик с круглым очком и выставил на карниз:

— Вот вам, уважаемые, квартира от Моссовета. И безо всякой очереди.

В квартире этой скоро запищал птенец, беленький, в мамашу, очень прожорливый и ленивый. Через месяц он стал размером со взрослого голубя, но все еще не умел ворковать и летал, как курица.

Отдельная квартира — роскошь, доступная лишь голубям. Но и коммунальная квартира, в которой живут старики, лишена знакомых нам по Зошенко и Булгакову гротескных черт. Кроме идиллической четы, в квартире, живет одинокая кассирша из «гастронома» с неслучайным грибоедовским именем Марья Алексевна (к ней старики иногда заходят «в картишки перекинуться») и небольшая соседская семья, которая дана через призму восприятия Клавдии Никифоровны — человека грамотного, но не образованного и очень уважающего всякую образованность:

Особенно полюбились голуби соседской Маришке, девочке лет девяти, которая по болезни неделями не ходила в школу и слонялась, скучая, по большой, безлюдной в дневные часы квартире, не зная, чем заняться. Клавдия Никифоровна жалела эту Маришку — бледненькую, на тонких мушиных ножках, всегда зазывала ее к себе, и та сидела у окна, грызла морковку и смотрела на голубей. А родители Маришкины были люди занятые, пропадали на работе до вечера: Борис Евгеньевич работал библиотекарем *в самой главной* библиотеке, а Агния Николаевна учила в школе, *в старших классах*. И была еще у них бабушка, Софья Леопольдовна, старушка лет под восемьдесят, совсем почти глухая, но еще крепкая, на ногах — на всех готовила и в магазины ходила. (Курсив мой — М. Г.)

Очевидно, что соседи стариков принадлежат к гуманитарной интеллигенции — главному объекту репрессий рубежа сороковых-пятидесятых (именно из этой среды — и профессор Козельский в «Студентах» и его двойник-антипод — профессор Ганчук в «Дома набережной»). Более того, в соседском семействе подчеркиваются отчетливые еврейские черты. Бабушка Софья Леопольдовна безошибочно говорит по-русски, но синтаксический строй ее речи аккуратно подсвечен еврейскими интонациями («Какая наглость, вы подумайте! Я бы на вашем месте, Клавдия Никифоровна, ей ответила хорошенько! На мой характер, я бы ей задала перцу, нахалке этакой!»); «Нет, ваши птицы исключительно редкие! На мой характер, я бы их ни за что не отдала!»), на которые, впрочем, старики не обращают внимания. Единственная антисемитская, по сути своей фашистская фраза, принадлежит в рассказе домкому Брыкину; ее — с учетом совсем недавнего опыта второй мировой — мог бы произнести в советской литературе скорее эсэсовец, чем советский полковник:

— Девочка тем более не ваша. Это не причина.

— Наша, наша, — сказала Клавдия Никифоровна и погладила Маришку по голове.

— Где ж ваша? И масть не та. — Брыкин усмехнулся, передние зубы у него были золотые. Наклонившись к Сергею Ивановичу так, что красные щеки его свесились, как два мешочка, сказал вполголоса: — А приваживать не советую.

Соположение двух тем — еврейской и голубиной — заставляет вспомнить еще одно произведение, по всей вероятности, стоящее за «Голубиной гибелью», — автобиографический рассказ Бабеля «История моей голубятни». Герой этого рассказа, девятилетний мальчик, гимназист-первоклассник, ровес-

ник трифоновской Маришки, страстно мечтает о голубях. День, в который он обретает свою мечту, оказывается днем еврейского погрома, а двоюродный дед мальчика Шойл, подаривший деньги на голубей, — его жертвой. Одновременно погромщик Макаренко избивает мальчика и убивает только что купленных им птиц:

Я лежал на земле, и внутренности раздавленной птицы стекали с моего виска. Они текли вдоль щек, извиваясь, брызгая и ослепляя меня. Голубиная нежная кишка ползла по моему лбу, и я закрывал последний незалепленный глаз, чтобы не видеть мира, расстилавшегося передо мной. Мир этот был мал и ужасен¹⁷.

В рассказе Трифонова нет страшного натурализма Бабеля — мы не видим не только самой сцены голубиной гибели, но и тем более — ее восприятия девятилетней Маришкой. Но это умолчание психологически действует чрезвычайно сильно: мы можем только догадываться о том, как будет (и сможет ли!) вспоминать выросшая Маришка об аресте отца, отчаянии матери, выселении из квартиры. И — о голубиной гибели.

В гибели голубей виновен не только отставной полковник Брыкин, но и еще один ровесник Маришки — избалованный соседский мальчик, стреляющий в голубей из рогатки вместо того, чтобы делать уроки. И его мать, названная, как и Брыкин, только по фамилии — Моргунова. Ее появление на пороге комнаты стариков мгновенно разрушает все декларации о советском равенстве. Для Сергея Ивановича и Клавдии Никифоровны Моргунова — *дама*, то есть прежде всего человек из другого социального слоя. По всей вероятности, она — жена какого-то советского номенклатурного деятеля; отчасти об этом свидетельствуют черты ее облика («шуршащий переливчатый плащ» и «длинный цветастый зонтик» — и то, и другое, отметим, в пору «великой дружбы» с Китаем), отчасти — рассказ ее бывшей домработницы Даши:

...вот она, Мария Алексеевна, однажды познакомилась с этой Дашей в химчистке, и та порассказала ей всякого-разного про этих Моргуновых: сама, говорит, колотит мужа почем зря, и он ей тоже не дает спуска. Каждую субботу у них гости, выпивка, музыку на полную силу запускают, так, что соседи стучат в стенку и жалуются. Так что, если она что скажет, можно и про нее сказать.

Явление Моргуновой с ее «категорической просьбой» убрать голубей предвещает другое, значительно более трагическое событие — арест работающего «в самой главной библиотеке» Бориса Евгеньевича. По воспоминаниям Ю.В. Трифонова, готова рассказ к журнальной публикации, А.Т. Твардовский попросил убрать из этой сцены несколько фраз, «отчего все стало выразительней и сильнее»¹⁸:

Тут, правда, про голубей на короткое время забыли: за Борисом Евгеньевичем пришли ночью и увели. С понятиями. Шум был, топот, разговоры, жильцы, конечно, проснулись, вышли в коридор. Агния Николаевна стояла нечесаная, белая и смотрела дико, как пьяная, а старушка Софья Леопольдовна кричала в голос. И только Маришка была спокойная, зевала спросонья, Борис Евгеньевич держал ее на руках до двери. Жильцы с ним прощались. Клавдия Никифоровна сказала:

— Да что ж это, Борис Евгеньевич?

А он посмотрел, улыбнулся:

— Разве не знаете, Клавдия Никифоровна, я же вчера человека убил!

Потом долго, часа два, Сергей Иванович и Клавдия Никифоровна не могли заснуть, грели чайник на плитке, обсуждали шепотом: мог ли Борис

¹⁷ Бабель И. Э. Собрание сочинений. М., 2006. Т. 1, стр. 162 — 163.

¹⁸ Трифонов Ю. В. Записки соседа, стр. 28.

Евгеньевич человека убить? Вообще-то он был шутник, скорей всего пошутил. Скорей всего в библиотеке что-нибудь допустил, может, ценные книги портил или еще что.

Старики, недалекие, как герой чеховского рассказа («Мы с вами не поджигали — и вот нас же не судят, не сажают в тюрьму»)¹⁹ не могут, разумеется, предположить, что Борис Евгеньевич невиновен. Но и его горькой шутке поверить не могут. Фраза, произнесенная Борисом Евгеньевичем в сцене ареста, не была придумана Трифоновым — ему рассказала о ней вдова писателя Виктора Кина Цецилия Исааковна²⁰. В том, что эта невыдуманная фраза не пострадает при прохождении через цензуру, Твардовский почти не сомневался. Намного более сложным представлялось ему сохранить в рассказе домкома Брыкина, полковника в отставке, которого Трифонов, по его признанию «писал почти с натуры». Ведомство, по которому некогда служил Брыкин, в рассказе, разумеется, не называется, но легко угадывается. Сквозь почти карикатурные черты этого персонажа, напоминающие отчасти о гоголевском Собакевиче, отчетливо просвечивают приметы не только новейшего времени, но и его зловещей службы:

Этого Брыкина, полковника в отставке, все в доме хорошо знали: с утра до вечера топтался он во дворе, следил за порядком, подгонял дворников или же сидел в домоуправлении и командовал как общественник слесарями и водопроводчиками, которые ему вовсе не подчинялись и часто даже не желали его слушать, но он никак не мог жить без того, чтобы кем-нибудь не командовать. Было ему лет семьдесят, но оттого, что он днями гулял на свежем воздухе, цвет лица у него был, как у милиционера, очень красный и здоровый. Еще этот Брыкин ходил по квартирам и воевал с неплательщиками, а на самых злостных писал заявления в те места, где неплательщики работали.

Не имея никакой формально закрепленной власти, Брыкин держит в страхе весь дом. Именно этот немотивированный, но напрочь ввевшийся в сознание не одних только стариков страх, и приводит к гибели голубей. И здесь возникает еще одна цепь сильных литературных ассоциаций. Сюжет «Голубиной гибели» последовательно воспроизводит сюжет хрестоматийной повести И. С. Тургенева «Муму». Каприз, ни на чем, кроме собственного упования властью и ощущения чужого бесправия, не основанный, в обоих случаях приводит к гибели существ бессловесных, бесправных и вместе с тем — очень дорогих людям. В трифоновском рассказе всеильная тургеневская барыня как бы раздваивается: капризы ее достаются советской *даме* Моргуновой, безграничная власть — отставному полковнику НКВД:

— Ну чего еще, на что нам еще собака? Только одни беспорядки заводить. Старшего нет в доме — вот что. И на что немому собака? Кто ему позволил собак у меня на дворе держать? Вчера я подошла к окну, а она в палисаднике лежит, какую-то мерзость притащила, грызет, — а у меня там розы посажены... Барыня помолчала. — Чтоб ее сегодня же здесь не было... слышишь? — Слушаю-с. — Сегодня же. А теперь ступай. К докладу я тебя потом позову²¹.

Практически то же самое, с небольшими вариациями заявляет во время второго прихода к старикам Брыкин:

¹⁹ Чехов А. П. О любви. — Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 18 т. М., 1977, стр. 68.

²⁰ Трифонов Ю. В. Записки соседа, стр. 27.

²¹ Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем в 28 т. Том 5. М.-Л., 1963, стр. 281.

— А нам, видишь, поступило заявление, и мы обязаны прислушаться и принять меры. Так что голуби считаются птица подозрительная, ненужная в наше время. И тем более ученик занимается, и они ему мешают.

— Ну, понятно, чего говорить. У вас тоже служба...

— А как вы думали? Легко ли мне, старику, какой раз к вам на седьмой лезть да вниз топтать? Одни вы, что ли, у меня? — Красное лицо Брыкина стало еще гуще, малиново-красным, голос возвысился, белые стариковские глаза с неожиданной злобой уставились в Сергея Ивановича. — Зачем столько уговоров? Пригласить вас повесткой на товарищеский суд, акт составить да штраф вlepить — и вся недолга!

Самым большим ударом грозящее голубям *исчезновение* (еще одно ключевое слово для Трифонова, восходящее к его детству и осмысленное позже в одноименном романе), оказывается для Маришки. Девочка спокойно, еще не понимая всего трагического значения события, реагирует на арест отца, но смириться с исчезновением соседских голубей она не может. Сцена, следующая за этим, становится живой иллюстрацией того, что мы привыкли сейчас называть «травмой поколений»: мать, силой уводящая девочку, не сочувствует ей — но не по своему бездушию, а потому, что не может справиться с жизнью после ареста мужа и собственного увольнения.

Все, даже Брыкин, смотрели на девочку, уплетавшую баранку, с улыбкой, только мать стояла мрачно, глядя на дочь совсем не материнским, холодным взором.

— Ну? — сказала Агния Николаевна.

— Мам, а дядя говорит, что голубков надо убрать.

— Надо — значит, надо.

— Мам, а мне их жа-алко!

— Мало ли что жалко. Вставай! Скажи спасибо, и пойдем. Нас бабушка ждет. — И она потянула Маришку за руку из-за стола.

— Да, да, голубков ваших надо убрать непременно, — сказал Брыкин.

Бледное личико Маришки вдруг скривилось, глаза закрылись, и она заревела. Клавдия Никифоровна стала ее успокаивать, совала баранку. Сергей Иванович тоже встал из-за стола, Агния Николаевна тащила Маришку силой, а та редела все отчаянней. Агния Николаевна не говорила ни слова, лицо ее как будто застыло, и только у самых дверей она вдруг стала кусать губы.

Преданные старикам голуби возвращаются. В первый раз Сергей Иванович подгибает отлив так, чтобы невозможно было на нем сидеть, во второй — отдает корзинку с голубями сыну лифтерши. В третий раз Сергею Ивановичу остается только отвезти голубей за город сестре, которая живет за Клином, в ста пяти километрах от Москвы. Эта деталь тоже не совсем случайна. Она, разумеется, не свидетельствует напрямую о том, что сестра Сергея Ивановича была некогда репрессирована или выслана, что она, говоря ахматовскими словами, из «каторжанок, стоятниц, пленниц» (строфа эта была добавлена в «Поэму без героя» в 1964 — всего за два или три года до создания трифоновского рассказа). Но вспомним, что и в написанной чуть позже повести «Долгое прощание» появится тетя Тома, прописанная постоянно «в Александрове, в ста километрах» и тайком ночующая в Москве, «тихая длинная старуха с несчастной судьбой — все ее близкие, муж и дети, погибли кто где»²². Голубей пока еще не убивают, но уже выселяют из Москвы за тот самый сто пятый километр, хоть и в райский сад с цветущей сиренью.

Голуби возвращаются в четвертый раз. Сказочная магия чисел дает сбой: если третий раз даровал им надежду на спасение, то четвертое возвращение (и как следствие его — третье явление злодея Брыкина) вопреки сказке, вразрез с ней приводит их к гибели:

²² Трифонов Ю. В. Собрание сочинений в 4 т. М., 1986. Т. 2, стр. 179.

— С какой же ты радости наклюкался? Постой-ка... — Клавдия Никифоровна осторожно сняла прицепившееся к пиджаку Сергея Ивановича маленькое белое перышко.

— Это пух, мать. Пух с тополей — поняла? Поняла, старая, чего тебе говорят? Ух ты, мордаха! — Сергей Иванович с глупой пьяной суровостью взял пальцами Клавдию Никифоровну за щеки, сжал их и потряс грубовато, как делал когда-то давно, в молодости. И Клавдия Никифоровна вдруг вспомнила это, что было когда-то, и улыбнулась.

Белое перышко, которое она сняла с пиджака, медленно плыло в воздухе, кружилось, снижалось, но ветер из окна подхватил его, и оно взмыло вверх и тихо — никто не заметил — село на плечо Сергея Ивановича.

Собственно, история двух несчастных стариков в этой точке заканчивается. И может быть, именно в этот момент Юрий Трифонов перестает быть советским писателем и становится тем, к кому подобные определения времени и места уже не применимы. Легкое касание белого перышка, чудесное явление с того света, прощение и прощение — эта метафизика ни в какую советскую литературу вписаться уже не могла. Да и прощает стариков не любящий их писатель, а сами погибшие голуби. Прощают потому, что совершенное стариками предательство порождено многолетним страхом — и им же навсегда обесмыслена их жизнь. Потому, что советская власть — не тургеневская барыня, и уйти от нее нельзя даже ценою убийства близкого существа. Потому, что времена меняются, но полковники в отставке и прикормленные ими (и даже не ими) дамы в шуршащих плащах неизменны.

«Голубиная гибель» — увертюра к будущим, еще не написанным повестям московского цикла. И к «Дому на набережной». И к «Времени и месту». И к «Исчезновению». Ко всему, что напишет на протяжении семидесятих один из самых важных сегодня писателей — Юрий Трифонов.

